

Константин Шох

**А «СКОРАЯ»  
УЖЕ ЕДЕТ**

Издательство АСТ  
Москва

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ш82

**Шох, Константин**

Ш82 А «Скорая» уже едет / Константин Шох. — Москва: Издательство АСТ, 2015. — 384 с. — (Честные рассказы врачей).

ISBN 978-5-17-098127-4

Я люблю свою работу. Люблю свою холодную «ГАЗель», люблю ругань Офелии, люблю болтливый говорок Дарьи Сергеевны, циничность и простоту Сереги, люблю толчею в заправочной и шквал вызовов в рации, люблю свою бригаду. Кажется, начинаю любить даже милое молчание прильнувшей к моему плечу Алины. Даже поганец Гена мне дорог.. Потому что он мой, скоропомощной, поганец. Мы — единое целое. Мы — одна большая, накрепко соединенная профессией, семья. В отличие от многих все мы, даже жажда денег, все равно работаем за идею. Мы — фельдшера «Скорой помощи»!

**УДК 821.161.1-31**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

Подписано в печать 20.06.16 г. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Усл. п. л. 16,80. Тираж экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ISBN 978-5-17-098127-4

© ООО «Издательство АСТ», 2016

## ИСТОРИЯ ОДНОГО ДЕЖУРСТВА

Светлой памяти гениального  
писателя, врача и человека,  
Михаила Афанасьевича  
Булгакова, посвящается...

Сразу хочу оговориться, что к работе службы скорой медицинской помощи я никогда никакого отношения не имел. И к медицине тоже не имел. Хотя, волей родителей, и закончил медицинское училище, но совершенно без стремления к продолжению карьеры. Помню, как стиснул мокрой от волнения ладонью терпко пахнущую типографской краской корку диплома, как второй, такой же мокрой и безобразно дрожащей, потряс руку вручившего его мне заведующего фельдшерским отделением, согласно мотая головой в такт поздравительным словам, которых не слышал и не понимал — и все, как оборвало. Был месяц радостного запоя, кружащего голову счастья, опьянения свободой от зачетов, пересдач, недописанных курсовых работ и бесконечных практик, было восхитительное чувство... а впрочем, пустое все. После была армия, после — возврат, и снова алкогольный угар, чьи-то квартиры, и гитара с желтой декой, какой-то пыльный хрусталь, из которого пили кислое пиво и запивали гадким портвейном, громкие хриплые голоса, всплывающие в чаду соляной прокуренной комнаты и тут же забывающиеся имена, чьи-то отечные с утра лица, кажется — даже драки, укоризненный взгляд матери и тяжелая рука отца, награждавшего меня подзатыльниками каждый раз, когда я, крадучись, пробирался домой под утро.

Вся прежняя жизнь — как в тумане... Была какая-то... жена, не жена... не знаю даже, в общем — мы жили вместе какое-то время, кто-то говорил, что уже пора «все как у людей», и от этих слов мне становилось горько, горько...

Была и работа. Но и она не оставила в душе заметного следа, такого, о котором бы хотелось вспоминать и рассказывать: чьи-то накладные с синими и лиловыми печатями, серые угрюмые люди в тулупах, холод распахнутых дверей хладокомбинатовского холодильника, унылый вид мертвых свиных тел, свисающих с крюков, полиэтилен и мятый картон ящиков с убитыми курицами, лишенными голов и перьев, с бессильно обвисшими крыльями... Снова были запои, и никак мне было не выбраться из этого замкнутого круга. Слаб я был, слаб...

Очнулся я от бреда, когда за окном был май, напоенный знойной пылью воздух лихо врывается в распахнутое окно комнатухи, которую я снимал уже третий месяц, и не было ни денег, ни жены, ни планов на ближайшее будущее.

«Что будем делать?» — спросил я у пустой комнаты, и комната, конечно, мне не ответила. Из коридора ощутимо несло хлоркой, и лай соседского щенка заставлял дрожать рюмку с недопитой мутной жидкостью на табуретке. Спрашивал я вчера и у рюмки, но она также отказалась давать мне какие-либо внятные советы, лишь уговаривая вновь и вновь нырять до дна, а там уж...

— Делать нечего, — уверенно произнес я. Голос гулко стукнулся о тесные стены с поблекшими обоями, и я на миг вяло поразился, как он глух и невыразителен. — Разве что вешаться?

— Дурак! — рявкнул за окном сосед. Обращался он, возможно, к своему, невидимому мне, собеседнику, но я явственно ощутил, что сказано было это именно мне.

Да, дурак! Глупый, малодушный, гибнущий дурак. И, что самое страшное, дурак безвольный — ведь даже подняться с раскладушки, душной от запаха немытого тела и несвежего

белья для меня казалось подвигом. Да и надо ли подниматься? Вон рюмка, руку протянуть.

— Дзыбыынь-дзень! — согласно пропела рюмка, закрутившись пируэтом, и сгнула прочь, зазвенев осколками по полу.

Гудел майский ветер, выли моторы машин за окном, шипел сбитой настройкой старенький радиоприемник, а я лежал и знал, что я дурак.

— Вон! — заорал назойливый сосед. — Вон отсюда!

И снова он был прав, мой сосед.

Кряхтя, я приподнялся с проклятого ложа, кляня недобрым словом того Прокруста, что меня в него уложил и вихляющей походкой добрался до белой, с черными пятнами сколотой эмали, раковины. Над раковиной было зеркало, и в зеркале, а точнее — в чистой, не заплеванной и не забрызганной мыльными брызгами его части, отразился фрагмент небритой щеки, распухший багровый нос и дикий, бегающий глаз. Глаз был безумен, он метался, словно бездомный кот в помойке, в обрамлении отечных, сизых век.

Глаз был мой. И в зеркале, разумеется, был я.

Я понял, что мне надо бежать. Бежать сейчас, вон из этой проклятой конуры, от орущего соседа, от заходящегося лаем куцега щенка, от тошнотворного запаха хлорки, куда угодно, лишь бы не давили меня эти обшарпанные стены, лишь бы не тянуло к крашенному пятым слоем краски подоконнику вниз, на усаженный гортензиями двор, очертя голову, и лишь бы не видеть этот жуткий глаз, который мог принадлежать лишь смертельно раненому или очень больному человеку, но принадлежал мне.

— Помогите... — кажется, прохрипел я.

Не знаю, кого я звал, у кого просил помощи, но помощь пришла незамедлительно — она шумно вкатилась в узкий дворик, звонко лязгнув крышкой неплотно закрывающегося люка, заполнив его шумом двигателя и бряцаньем носилок, зашуршала резиной покрышек и затихла, звонко крикнув пронзительным горном.

С колотящимся сердцем я припал к ненавистному подо-  
коннику. Два ангела в голубом стояли у моего подъезда, обли-  
тые лучами утреннего солнца, и их одежды сияли, как брил-  
лиантовые.

— Мужчина, это тридцать седьмой? — требовательно  
поинтересовался ангел постарше.

— А... э... кхм, — смог выдавить я.

— Дом — тридцать седьмой? — уточнил ангел поменьше  
ростом, оказавшийся женщиной, и настолько рыжеволосой,  
что золото ее волос горело как костер.

Не в силах совладать с липнущим к нёбу языком, я лишь  
кивнул. Ангел постарше что-то буркнул, поднял оранжевый  
ящик, который до этого он поставил на асфальт двора, и оба  
растаяли в черной пасти подъезда.

Я был спасен.

Через три недели я, выбритый до синевы, бледный, с  
колотящимся сердцем и холодеющим нутром, стоял в  
кабинете Максима Олеговича Игнатовича, заведующего  
центральной подстанцией «скорой помощи». Максим  
Олегович был тучен, но тучность ему шла, и золотые обод-  
ки круглых очков придавали его маленьким глазам поистине  
дьявольский блеск. Он был хитер и обаятелен, возвы-  
шался за тесным для него столом, как некий бог бюрократии,  
и я его боялся.

«Он очень сложный человек, этот Максим Олегович», —  
думал я, чувствуя, что моя решимость во что бы то ни стало  
стать фельдшером «скорой», и до того непрочная и шатаю-  
щаяся, вот-вот рассыплется, как карточный домик. «Он кова-  
рен и скуп, голос его будет обязательно груб и густ, как кисель,  
он сейчас поднимет свои дьявольские глаза от бумаги, кото-  
рую уже десять минут изучает, не замечая меня, и изничтожит  
меня на месте, посмеется над моей решимостью, поиздева-  
ется над моими остатками знаний, загонит в угол каким-  
нибудь каверзным вопросом по кардиологии или, чего хуже,  
по патогенезу какой-нибудь редкой инфекционной болезни,

и укажет мне на дверь. И я уйду — как я могу не уйти — и снова будет пахнувший общей кухней и уборной коридор, и снова навалятся на меня душные стены, и снова я буду жечь свечу, боясь темноты, и снова наполнять неверной рукой стакан за стаканом...».

Максим Олегович дочитал, откашлялся, поднял глаза и сказал так:

— Арсентьев? — спросил он приятным баритоном, никак не басом.

Я торопливо кивнул, молясь, чтобы не подкосились ноги.

— Игорь Николаевич?

И вновь я склонил голову, еще свежую после ножниц парикмахера, полчаса назад приведшего мою буйную шевелюру в надлежащий вид за три сотни рублей, занятых у соседа (того самого).

— Четыре года вы не работали, так понимаю?

«Я пропал», — понял я, и это меня сломало окончательно. Я уже занес ногу, собираясь уйти, не прощаясь, когда Максим Олегович подмигнул мне обоими своими дьявольскими глазами и довольно засмеялся.

— Ничего... освоитесь. Нам нужны молодые фельдшера.

Кажется, я хватал воздух ртом, пока он все смеялся и смеялся, и блестяли его золотые очки, бросая короткие взблески на белую крахмаленную ткань его халата.

— Присаживайтесь, прошу.

Повернувшись вслед его жесту, я обнаружил уютный, обтянутый тисненым флоком, диван, дальнюю часть которого загромождали картонные пухлые папки «Дело» с торчащими из них фиолетовыми резолюциями, а поверх папок уютно свернулся толстый рыжий кот.

— Подлиза, станционный, — отрекомендовал заведующий, как мне показалось — с гордостью. — Блох нет, даже удивительно. Аллергия есть? — внезапно добавил он, строго глядя мне в глаза.

Я поперхнулся и торопливо заверил его, что аллергии у меня, как и у моих родственников, нет и не было, и уселся на скрипнувший флок, заставив бумажную башню зашататься. Кот недовольно поднял морду, посмотрел на меня мутным глазом и размашисто зевнул, сверкнув желтыми зубами.

— Хозяйственный, — довольно пояснил Максим Олегович. — Хоть на ставку медрегистратора бери. Любит бумагу. Особенно объяснительные.

Сообразив, что это шутка, я тактично посмеялся, боюсь — громче и загромнее, чем следовало, потому что в глазах Максима мелькнуло легкое недоумение.

— Вы — не специалист, — произнес он весомо, когда я замолк. — Понимаете же?

— Понимаю, — я был жалок снова, и понимал. Какой, к черту, специалист из безработного молодого алкоголика, который... но тут снова он прервал мои мысли, неожиданно выкрикнув:

— Артур!

Кот встрепенулся, выгнул спину, и на миг его глаза блеснули совершенно тем же дьявольским блеском, как и у заведующего; я вообразил, что сейчас он взвоется винтом в вихре серного дыма и обернется юрким чернявым бесом — и шарахнулся. Что-то звонко лопнуло и ударило звоном в уши.

— Это... это?

— Шприц люэровский, старый, — терпеливо объяснил Игнатович, снова становясь спокойным и добродушным. — Студенты забыли, вот... разбился. Ну, на счастье, молодой человек, на счастье.

— На счастье, — эхом повторил я, окончательно погибая от стыда и делая неловкие попытки собрать осколки. Заведующий остановил меня ласковым жестом.

— Вы — нервный молодой человек, — сказал он, и даже кивнул, соглашаясь со своими словами. — Нервный... кхм. Вам бы...

— Это наследственность, — вкладывая в это всю свою и вину, и досаду на себя, ответил я.

— Наследственность, хе-хе. Наследст... Артур! — грянул он громче и грознее.

Дверь распахнулась, и в проеме возник, как черт из табакерки (я снова стрельнул глазами на мирно улегшегося кота) бравый, с косою саженью в плечах. Был он, как и кот, рыж, и даже пышные усы были рыжими, но размах плеч был поистине богатырский, и голос был гулким, как в бочонок:

— Звали, Максим Олегович?

— Звал, звал, — кивнул заведующий. — Каплину сюда позови, если не на вызове.

Артур осклабился, подмигнул мне и исчез беззвучно.

— Телефоны у нас третий день не работают, — подмигнул мне и Игнатович. — Вот и приходится фельдшеров гонять.

Я снова посмотрел на кота — не подмигнет ли и он, подумал, не подмигнуть мне заведующему в ответ, и не стал.

Дверь снова открылась, на этот раз со скрипом, и в дверном проеме возник давнишний ангел, которого я видел из окна моей гнусной комнаты. Правда, свой сверкающий наряд из голубых перьев она сменила на довольно потертый белый халат с рукавами по плечи с зеленой оторочкой, а жгучее золото волос — на пепельный оттенок, но я узнал ее тут же, и тут же, на этом диване понял, что погиб окончательно и уже бесповоротно.

— Звали, Максим Олегович? — повторил ангел фразу, после которой недавно исчез бравый Артур.

— А звал, Юленька, как же. Вот, полюбуйся, — и Игнатович жестом фокусника, успешно завершившего очередной иллюзион, указал на съжившегося на диване меня. — Ты фельдшера просила себе? Вот, кхм... сам пришел, даже искать не пришлось.

Ангел коротко посмотрел на меня и отвел взгляд.

— Снова учить? — тяжело спросила она, и сердце мое тут же сжалось и заполнилось жгучим ядом страха.

— Учи, учи, — благосклонно кивнул Максим Олегович, словно не замечая сведенных досадой тонких бровей (глаза, ах, ах!) и нервно сжатых тонких пальцев. — Тебя ведь тоже когда-то... учили, верно?

Названный Юленькой ангел на миг сморщился, утратив все свое очарование, потом вдруг вспыхнул:

— Я же просила, Максим Олегович, просила...

«Угум-гум-гум», — бились в моей голове раскатистой бронзой тяжелые колокола, и я нервно мял свои пальцы, стараясь сплести из них нечто невообразимое. В один миг, казалось, вся моя прошлая ничемная жизнь разлилась своими тусклыми, бледными и отталкивающими красками перед глазами, зашипела змеей и забила сотнями крыл; я словно новым, детским невинным взглядом увидел всю ее горечь и отталкивающую кислую гнусь, и лишь одна мысль, назойливая, как муха в тесной комнате, снова и снова металась по кругу:

«Не возьмут, не возьмут, не возьмут, не возь...»

— Вот и хорошо, — ударил благовест голоса заведующего, и мысль та с тонким предсмертным писком упала и растаяла. — Значит, послезавтра он уже в смене. Пишите заявление, молодой человек!

«О, Господи! Заявление!», — почему-то испугался я, от испуга почти утратив человеческий облик. Поднял голову — и забыл об этом, потому что ангел мой снова сиял, и даже смотрел на меня благосклоннее.

— А послезавтра, значит..

Ангел протянул мне свою тонкую руку с изящными, словно из слоновой кости вырезанными, пальцами, и оказался женщиной:

— Юлия Каплина. Ваш врач. Будем работать вместе.

Кажется, я назвал свое имя. Кажется, даже смог пожать ее ладонь, не сгорев от стыда и от сознания постыдности своего стыда, кажется, даже что-то произнес, на редкость нелепое, льстивое и, возможно, отдающее дворовой пошло-

стью. Кажется, даже попрощался, когда она ушла. Я был в тумане, и туман тот был серым.

На тесном столе Игнатовича меня ждал желтый лист писчей бумаги и шариковая ручка, и она словно приглашала меня.

Я написал заявление.

— Будет трудно, — кивнул Максим Олегович. — Не скрою. Трудно будет, Игорь Николаевич. Работа такая.

— Я... просто Игорь меня зовите.

Очки заведующего полыхнули уже почти что погасшим дьявольским блеском, а он ослабился, как сытый кот.

— Вот поработаете с годик — буду звать. И никак иначе.

«Он — коварный человек», — думал я, а Игнатович внешне кивнул, словно соглашался с этой мыслью.

— Ступайте в отдел кадров.

На прощание он сделал мне ручкой и углубился в бумаги.

Я посмотрел на кота — не подмигнет ли на этот раз. Кот не подмигнул, а снова зевнул, обвился хвостом и заснул.

— Что же это, что же... — бормотал я, выходя через некоторое время из узкой каморки, забитой тюками и свертками (добрая душа — сестра-хозяйка — почти безропотно провела полчаса на стеллажах, разыскивая форму моих размеров). — Ну, фигура... да, фигура... ну, глаза... но кой черт, что я, в самом деле-то, как мальчишка?

Сказав, я испуганно огляделся. Но коридор подстанции был пуст, и лишь гудела над головой галогеновая лампа, слегка подергиваясь в такт своему гулу. Прохладный сквозняк тянулся, вьюном огибая угол коридора, и нес он в себе странные запахи, так непохожие на все прежние, которые ассоциировались у меня с работой — запах какого-то антисептика, запах нагретой вощенной бумаги, запах мокрого пола и, неожиданно, клубничного варенья. Была и хлорка, но почему-то в первый раз за все время этот дерущий ноздри аромат не вызвал у меня привычной тошноты. Где-то резко и часто, как

автоматные выстрелы, взметались и опадали трели телефонов диспетчерской, с ними шипяще спорила рация, а с улицы доносилось хлопанье дверей машин, щебет птиц и азартные голоса водителей, играющих в карты под навесом.

— Пусть как мальчишка, — упрямо сказал я. — Пусть. Пусть грешен и пил, и пусть была гитара, и портвейн, и гнусные рожи каждую ночь были... Но я пришел, и теперь этот мир — мой. И этот мир...

... принял меня через три дня, которые я провел в жуткой тревоге, вздрагивая от каждого звонка, каждого стука в дверь, в ожидании, что сейчас услышу в трубке вкрадчивый голос дьявольского Игнатовича или увижу в дверях Артура, который хитро шевельнет усами, подмигнет мне и скажет: «Извини, друг, но ... сам понимаешь. Куда тебе — без опыта-то?». А может, это будет не Игнатович и не бравый Артур, может, вспрыгнет в темноте на подоконник рыжий кот Подлиза, сжимая в пушистой лапе мое смятое, подранное когтями заявление и скажет мне человеческим голосом (почему-то мне все же представлялся голос заведующего), что доктор Юлия отреклась, и нет мне места там, где работают ангелы с пепельно-золотыми волосами... Я просыпался в поту, комкал подушку и бегал пить мутную воду из-под крана в общую кухню, тревожа спящего в коридоре на раскладушке соседа (того самого).

Но никто не позвонил, не пришел, не вспрыгнул на подоконник и не отрекся. В тот же день, который мне назначил Игнатович, я был уже собран, подтянут, и без конца отряхивал много раз стираную рубашку и брюки, последние из тех, которые не побывали в моих прошлых приключениях, и которые я долго и старательно наглаживал, добываясь бритвенной остроты стрелок. Мои туфли, хоть и потертые, сияли кремом и даже приобрели некоторый шик, который через некоторое время показался мне лишним, стал стеснять, и я даже пошлепал ногами по пыли, чтобы это сияние умерить.

Врач Юлия, снова сменившая наряд (на этот раз это была салатно-зеленая форма), бегло взглянула на меня, нахмурилась и кивнула мне на дверь машины. Я кинулся было, и тут сообразил, что дверь эта — не та. Оплошность допущена, и вновь щеки мои стали красными. Оказалось, и мне это уж после растолковал водитель Николай, тихий, мощный, с сальными редкими волосами и грустными глазами вдовца, что врач, как главный в бригаде, всегда сидит впереди. Как бы то ни было, я увял, и оказался в салоне нашей санитарной машины. Благословенное место! Словно очарованный, я водил руками по мокрой от гипохлорита клеенке, закрывающей дерматин носилок, по скользкой пластмассе панелей, по выпуклостям дефибриллятора, по гибкой резине шлангов аппарата искусственной вентиляции легких, даже по бугристой стали переборки, отделяющей от меня моего врача, и шептал под нос: «Этот мир — мой». Забылся и конфуз с окоянной дверью, забылся страх, забылся подоконник и сатанинский заведующий, все забылось, осталась лишь эта машина, и стук колес носилок о пандус, и легкий перезвон флаконов с растворами в укладке.

Перед первым же вызовом мне был учинен форменный допрос, без пристрастия, но с дотошным выяснением, много ли я знаю и умею. Сказать, что знания мои давно истлели, я, разумеется, сил в себе не нашел, и я отводил глаза, пытаюсь отвечать ангелу так, чтобы не быть уличенным во лжи немедленно: на вопрос, умею ли я пунктировать вены и ставить периферические катетеры (само слово «катетер» мне казалось чужим и колючим) я уклончиво бормотал, что, мол, меня учили, да, и что если надо, то — конечно. Юлию это не удовлетворяло, и пока мы ехали куда-то, она вновь, полуобернувшись, задавала вопросы про знание оборудования, алгоритмов оказания помощи, тактики ведения и еще черт знает чего... и мне приходилось выкручиваться, стараясь не смотреть на ее профиль в узком окне переборки, тонко очерченный падающим светом, и было мне снова горько и

гадко, как тогда, когда я врал родителям, обещая, что больше ни-ни, никаких друзей, портвейна и сигаретного дыма столбом в чужих равнодушных комнатах. Ангел выглядел все больше раздосадованным, и я все больше и больше падал духом. Насмешники-боги щадили меня весь этот длинный день, мне не приходилось делать ничего из того, о чем меня так настойчиво выпрашивала моя врач, и от того я все больше и больше мрачнел, почти уже ненавидя Игнатовича и его это предательское «освоитесь», заставившее меня впитаться жалом шариковой ручки в писчую бумагу и подписать себе приговор. Ну ладно, гневно говорил себе я, пусть пока что сплошная поликлиника, жалобы на бумагу, таблетка — в рот, доброе слово вдогонку, а дальше-то, дальше? Юлия ловко и с тактом расправляется с очередным вызовом, а я лишь хожу следом, все больше начиная сознавать свою ненужность и тонуть в ней.

Ночь выскочила как-то неожиданно, боком, словно крыса из водосточной трубы, и сверчки возвестили ей свою шумную хвалу изо всех щелей. Ах, майская ночь... разве дано кому достойно воспеть твою пьянящую, шемящую душу красоту? Россыпь крупной звездной крошки куполом на темно-синем небе? Пряный аромат уставших цветов, дремотно сложивших лепестки? Теплый ветер, полный нагретой пыли, в который то и дело вкрадывается прохладная струя, ласковой ладонью проводящая по мокрой от пота коже? Огромную желтую луну, запутавшуюся в ветвях платанов? Неясную тоску и томление в груди при одном взгляде на разлитое лунное серебро на ветвях, листьях, искрящемся асфальте, зеркальных лужах? Луна, луна... богиня ночи... богиня, лишающая покоя и сна, как же часто ты меня звала, когда в глазах плескалась пьяная муть, а душу грызла горечь, обида и глухая ненависть, гладила призрачными пальцами подоконник и уверяла серебристо, что все, что мне нужно — это лишь сделать шаг, раскинув руки, и лунная дорога примет меня...

Но не пошел я по той дороге, и теперь она льется с неба не для меня, а моя дорога — иная, и уж далеко не из серебра.

— Едем, — бросила мне хмурая Юлия вместе с белым прямоугольником карты вызова. Карту я поймал, бережно свернул и спрятал в нагрудный карман.

Дорога постелилась под ноги, была она черна и непроглядна. Чернели и стены домов, окружавших нас, светили глазами окон, угрожающе, сурово...

«Сейчас будет... ну, к примеру, инфаркт с кардиогенным», — тоскливо думал я. «Или инсульт с комой... или еще какая-нибудь дрянь, названия которой я даже не вспомню, и начнется, и покатится, и будет ангел мой чернее, чем эта ночь, глядя, как я беспомощно шарю руками по распахнутому оранжевому ящику, не зная, за что хвататься... А, хотя и к лучшему это — с утра пойду к хитрому Игнатовичу, возьму его за отвороты его крахмаленного халата и вытрясу его хитрую душу... впрочем, нет, не буду я вытрясать из него душу, нет у него души, просто порву свое заявление, или напишу другое. И не будет больше этой дороги, этого скрипучего кресла подо мной, и подернется пепельным дымом силуэт Юлии в окошке переборки, и... ну а там посмотрим».

Так я малодушничал, пока машина, раскачиваясь, останавливалась, фыркала и отплевывалась выхлопной трубой, роняя бензиновые капли в мутные лужи. Я не хотел уходить из этого мира, который так коварно впустил меня, но впустив — не собирался удерживать. Ведь я уже был очарован и пьян этой майской ночью, темнотой подъезда, гулким звуком наших шагов, легкими прикосновениями плеча Юлии, шедшей чуть поодаль, но все же рядом...

Нас встретил некий юркий, с ежиком черных волос и подлыми, скользящими глазами, в которых стояла ядовитая влага. Помню, как заскакали, запрыгали по подъездному колодцу злые, матерные слова:

— ... ать.... ать! Задушу, если сейчас не спасете! Ах... сука!